

рассказ

Адель Хаиров

69

Его внешность русского купчишки никак не хотела дружить с чахоточным и бедным интеллигентом-разночинцем, обитавшим внутри дородного тела. Как так получилось? Скорее всего, перед прадедом – купцом первой гильдии, бакалейщиком, предстала зарёванная дочь: на колени бухнулась, одной ручкой вспухший живот придерживая, а другой к батеньке своего тощего жениха подталкивая. Тот, скромный учитель гимназии, глаз боится поднять, фуражку бубликом ломает. Что тут будешь делать? Хотел, конечно, купец интеллигента пришить, даже длань тяжёлую поднял, но поймал её кто-то там благоуханный, струящийся в воздухе да сложил перста для благословения. С тех пор в роду Самоваровых то купцы проклянутся, то учителя. А в нём – так сразу оба! Представьте себе раскрасневшееся самоварное лицо с пушистым клинышком бородки, которая, как салфетка, ловит всё, что упускают задумчиво жующие уста. Глазки – маленькие, виноватые, как у жареного поросёнка. Пальцы пухлые, но нервно щёлкающие.

Когда Пётр Капитонович Самоваров принимал экзамен у своих студентов-филологов, то со стороны казалось, что это он им сдаёт – так волнуется и пыхтит. Если его называли по имени-отчеству, то это звучало даже насмешкой. Он мог быть только Петюней.

Нос был единственным, кого он обижал. В минуты растерянности теревил его яростно, пытаясь уничтожить, содрать с лица. И так помнёт, и сяк раскатает, как тесто под пирожок, а потом ещё расчихается. Вечная папироска, которую он курил, добавляла ему сходства с самоваром. От него шёл дымок – вкусный, тёплый, а не такой неприятный, как у прокуренных алкашей с лицами пустыми, как выпитые бутылки.

Под горлом у Петюни всегда елозила малиновая бабочка. Неснимаемая! Както бабочка спасла ему жизнь. Гопники выросли из липкого мрака подворотни, обступили его, поплёвывая, с заготовленными хуками в отбитых костяшках, но эта бабочка их сделала! Они словили мятыми ушами обрывки симфоний, выпавших из небесных сфер, и при-

Петюня

балдели. Им нередко приходилось наматывать на кулак галстуки, но бабочка была в диковинку. Она являлась редким экземпляром ливийского махаона из семейства парусников, случайным сквозняком задутая в Казань, висела в воздухе и нежно обмахивала их злобные морды. Петюня вынул латунный портсигар с выпуклым памятником Пушкина работы Опекушина и предложил: «Извольте, господа, попробовать моих!» Гопники вежливо вытащили из-под резиночки одну папироску на шестерых и исчезли в ночи, чиркая спичкой. «Гы-гы, мы – господа!» – скалились, попыхивая.

Однажды он поехал на велосипеде на свою дачу в Новое Аракчино, которая дичала после смерти бабушки. И там увидел, как тяжёлые ветки малины облегчает соседка. Петюня присел на корточки и надел на себя лопух, чтобы только тётя Эльза не заметила его и не смутилась. Просидел, как тать, с полчаса, одеревенел от холода, пригубил бутылочку домашнего «коньяка», а потом убрался восвояси. Лишь обиженно тренькал на камушках звоночек, и пустая корзинка с крупным июньским жуком хлопала по коленке. Дедушкин трофейный велосипед был ему письменным столом, а может быть, даже железным Пегасом! Раскрутив педали и раздвинув ноги, он вслух сочинял стихи. Ботинки тяжелели от рос, на лбу стрекоза сияла зелёной звездой, из спиц торчали колоски с ромашками, шины хрустели кузнечиками, а Петюня распевал свои стихи на примитивный мотивчик:

Согрелся горячей звездой коньячной
и стал потихоньку ходячим и зрячим,
и вспомнил о бледных ногах,
что в поисках счастья блуждают в ночах.

Петюня поймал губами бабочку и повёз её, трепыхающуюся, обладательнице бледных ног – Фиолетте. Он шепелявил и поэтому произносил мягко – Фиолетта. Ей это имя больше шло вместе с фиолетовыми длиннополыми платьями и томными шляпками, в которых она становилась похожей на тор-

шер. Весь душный вечер она держала бабочку за лапки, и та служила ей миниатюрным веером. Теперь у них было по бабочке!

На клеёнке с грузинскими князьями появилась трёхлитровая банка вишнёвой наливки, нарезной батон и малиновое варенье. Фиолетта вдруг вспомнила, что купила для него сочник, но найти его так и не смогла. Он тоже ей как-то из студенческой столовки принёс пирожок с ливером, и вспомнил о нём лишь, когда тот распукался. Зелёный жук, облетев абажур, упал на тарелку, демонстративно сложив лапки. Натё вам пирожное!

Хаос их квартиры был живым. Он ходил на грибницу, которая множилась, вытесняя домочадцев. Где-то забаррикадированный, отчаянно мяукал рыжий кот, но они не могли его отыскать. И только через год, обнаружив того в шкафу, оставили у себя под видом чучела лисы. Когда ботинок и туфель в коридоре стало чересчур много, их начали забрасывать в сетку к шапкам. Время от времени они падали на голову, при этом метили каблуком прямо в лоб.

В спальню даже перестали заходить. С той стороны опрокинулась швейная машинка «Зингер» и припёрла дверь. Затем в открытую форточку залетела беременная голубка и свила гнездо на шифоньере. Вскоре там закурлыкали. Петюня сказал, что у них поселились журавли.

Этот хаос был им родной. И непонятно ещё, кто кого породил. Стоило Фиолетте бедром задеть выросшую до потолка кособокую стопку виниловых пластинок с классикой, как Петюня в противоположном углу комнаты уже подставлял руку, ожидая, когда в неё упадёт фарфоровый клоун с верхней полочки. Просто он хорошо знал принцип действия закона «домино», хозяйничавшего в квартире.

В голову Петюни тоже пробрался хаос. Он полагал, что прошло пять минут, а на самом деле проносилась неделя, он думал – на дворе май, а на белую соломенную шляпу почему-то пикирова-

ли жёлтые листья и в спальне кричали журавли, пытаюсь протиснуть в узкую форточку свои плечи. Петюня шагал с книжкой в туалет, а оказывался в аудитории. Так случалось уже несколько раз. Вот и вчера, под хихиканье студенток, пытаюсь прикрыть срамное место томиком французской лирики, он попятился и наткнулся на Поля Верлена. Тот, хоча, похлопал его по спине и прочитал на хорошем русском:

Бьёт полдень.
Я прошу, уйдите, только тише:
Он спит, а женские шаги,
как град по крыше,
Стучат по голове...

Верлен выдал поэту свои запасные штаны в чернильных пятнах. И тот, окрылённый, ездил в троллейбусе вокруг тарелки цирка весь день, прижимая к груди папку с диссертацией «Поэзия как чувственное соитие слова и живописи», а когда вернулся домой, то Фиолетта уже родила ребёнка. Ему показали заматанную баклашку и сказали: «Это твой сын». Утром сообщили: «Это твоя дочь», через какое-то время опять: «Это твой сын». Уф, он так и не понял, кто же у него родился-таки на самом деле и, раздосадованный, ушёл в себя «на дно морское», прихватив Верлена и жука в кармане, которого нарёк Велимирор.

Время текло: то тягучим мрамором растопленной карамели, то жидковатой манной кашей с комочками, то тенью мыши, бегущей от летящей тапки. И вот как-то вечером в уголке за волнообразными нагромождениями хлама Петюня внимательно разглядывал тяжеленный альбом Веласкеса, который неожиданно свалился ему на голову. Застрял на *Las Meninas*, полюбовавшись девочкой в золотом куполе роскошного платья, он перевёл взгляд на группу карликов – это были Барбола и Пертусато. Пустил к ним жука – поиграть. И чуть было сам не перешагнул в сумеречную комнату с густыми испанскими запахами, намешанными из пота, сладких духов, чеснока, микстуры, масляных красок, собачьих какашек. И тут его накрыла тень. Подняв глаза, увидел перед собой живую кар-

лицу Марию Барболу, та уставилась на него, не мигая. Потрогала пружинистую бородку и, поднатужившись, выдавила на свет: – «Папа».

Фиолетта вернулась с базара и, прислонившись к косяку, залюбовалась тем, как они играли в «фанты». Разноцветные носочки с бумажками болтались под люстрой. Машенька уже сшибла тапочкой один вместе с хрустальным плафоном и теперь корпела над заданием – пыталась написать на обоях, зажатым в ноздре карандашом, слово «параллелепипед», но у неё вышло только «папа». Фиолетта тоже присоединилась – ей досталась записка с приказом описать свою мечту ухом, то есть засунутым в раковину уха карандашом. Она мучилась-мучилась и, наконец, выдала: «мопе», что означало «море». Петюне выпало самое сложное: расписаться на стене вставленной в анус кисточкой, чтобы было похоже на роспись Поля Гогена. Пыхтел-пыхтел, но получилось «Поленов», что, впрочем, ему засчиталось.

Пока Петюня выуживал бильярдным кием живущие под диваном старые носки для фантов, то нашёл укатившуюся когда-то от алчущих ртов испуганную бутылку водки. Так что ужин удался на славу...

Много в иной день находилось «по сусекам» припасов: всяких закотившихся яблочек, луковиц, картофелин, сухариков, конфет. Маша поднаторела в этом деле, её только на помойку нельзя было выпускать, иначе – натаскает!

Как-то Петюня задумал написать большой парадный портрет своего семейства с умершей мамой Соней, братишкой Серёжей и околевшим рыжим котом Авдеем. Фиолетту он хотел, как испанскую королеву Марию Луизу, посадить на коня, для чего заманил костью дворового барбоса. Но как только жена взобралась на собаку, та взбрыкнула и понесла. Комната задрожала, как Геркуланум, лопнула серебряная струна, поддерживающая свод хаоса, лавина вещей сошла и погребла обитателей. Они, фыркающая и хохоча, шумно выбира-

лись из-под завалов. Петюня по пути, где-то там на глубине, отыскал бутылочку «Русской» и сиял как начищенный поднос в трактире. Но бедная собачка так и не отыскалась. Пройдёт год-два и к чучелу лисы добавится оскаленный волк!

Почти ничего из квартиры не выносились. Она распухла. Когда 12 августа пришли коллеги поздравить Петра Самоварова с 45-летием, то он их принимал в прихожей, усевшись в хромое вольтеровское кресло. Кушали в ванной на стиральной машине, внутри которой в унтах прятались рюмки и бутылёк со спиртом. Фиолетта родом была из чувашской деревни и привыкла стирать бельё на рифлёной доске речным песком. Преподнесённую огромную гипсовую голову Карла Маркса усадили на унитаза. Там он и прижился. Фиолетта упрямо называла его Зевсом и время от времени кричала:

– Зевс покакал, убери его в ванну! Быстрее...

Лишь однажды она, как женщина, завела разговор о генеральной уборке. Должна была приехать её мама, и ей не хотелось накрывать стол на стиральной машине. Но Петюня что-то сказал невразумительное о ёжиках, которые убираются в лесу, о геологах, посылающих их за водкой. Вспомнил об утреннем ветре *sissy* (фр. чистоплюй), подметающим парижские улицы и загоняющим скомканные бумажки в урны...

Фиолетта молча взяла веник, совок и принялась отвоёвывать пяточок у хаоса. Потом её отвлек телефонный звонок, после чего она уже не смогла отыскать ни веника, ни совка. А когда ей понадобился телефон, то и он куда-то запропастился.

* * *

В тот последний день лета Петюня еле-еле доплёлся до подъезда, передохнул на лавочке, глупо улыбаясь старушкам, затем с остановками поднялся на свой этаж. Ноги, как на водолазе, были в свинцовых башмаках. Сразу

прилёг на диван, даже не освобождая его от игрушек, книжек и всего прочего. Раскинул руки и более уже не вставал. Ни вечером, ни на следующее утро, ни через неделю. Зашла соседка, врач Зильберман, и грустно покурила у постели больного. Несмотря на то что она была гинекологом, соседи к ней всегда обращались с разными болячками. На все вопросы Петюня складывал губы трубочкой, силился что-то ответить, но только выжимал слезу. Он хотел рассказать, что в подземном переходе на Баумана наступил на морского ежа, всё тело пронзило электричеством...

Петюня лежал в своей малиновой бабочке и рассматривал золотые головы высоченных берёз, вымахавших до пятого этажа хрущёвки. Три головы бряцали тяжёлыми шеломами и забрасывали в окно золотые червонцы. Несколько залетело прямо в судно, прикрыв «результат упорного труда». Один прилепился к бороде.

Время от времени зелёный жук выходил из укрытия поиграть хлебными шариками на мокрой груди Петюни. Барбола, чтобы жуку не было одиноко, принесла с улицы улитку, слизня, короеда и всех их запустила в папины кудри. Петюня хихикал и не позволял Фиолетте расчёсывать бороду, иначе квартирантам пришёл бы какк.

По вечерам она приносила чай на старинном подносе с клеймом «Хусайнов и английское чаепитие», в маслёнке у неё шевелилось снулыми осами малиновое варенье, а в хрустальной вазочке таял кубик финского масла. Овсяное печенье было навалено живописной горкой. Она поила мужа, а потом торжественно открывала книгу Дениса Осокина и начинала елейным голоском старухи зудеть. Петюня рыдал и кусал бороду, а Барбола как-то не выдержала и сказала: «Ма, ну хатит хейню считать с вылажением!»

Как-то дождавшись, когда Фиолетта пойдёт к Зевсу, которым она теперь сама ворочала, таская того за уши то из ванной на унитаза, то обратно, Петюня что есть сил метнул книжку в окошко.

Бабах! И место Осокина занял Антон Павлович, вечером семейка долго покатывалась над его «Дипломатом». Барбола не умела смеяться и вместо этого пукала.

Так они счастливо проводили вечера, не зная, что против них уже зреет заговор.

Зильберман пошла по соседям, у всех после её рассказа о посещении больного соседа глаза становились влажными. В монологе часто повторялось слово «сроч». Любопытные соседи стали ходить к Самоваровым на экскурсию, чтобы посмотреть на этот самый сроч. Потом, рассказывая про свои впечатления, они добавляли «неописуемый». Конечно, жалели семейку, как уж без этого! То пирожки под салфеткой принесут, то парных котлеток тарелку.

Добрые у нас в стране всё-таки люди. И денег быстро собрали, и лекарство какое-то редкое раздобыли, и дежурных назначили, и за хлебом с молоком сбегали, и электрика Рифката разыскали в котельной, оторвали его от одноцветных прокопчённых шашек и заставили все перегоревшие лампочки в квартире Самоваровых поменять.

Но Зильберман не уgomонилась. Она договорилась со своим знакомым, заведующим отделением санатория «Васильевский», пристроить туда на месячишко парализованного больного с женой. Барболу тоже определила – в дом-интернат им. матери Терезы, где содержались дауны – отпрыски уважаемых в городе персон. Замысел заключался в том, чтобы сделать в квартире Самоваровых ремонт, обставить новой недорогой мебелью и устроить им сносную жизнь.

Петюня, когда его выносили санитары, выпучил глаза и хватался за родные вещи, которые сыпались со всех сторон. К тому же дверь заклинило, и они долго не могли выйти. Сама квартира сопротивлялась, не выпускала Петюню! Но вот всё стихло. В дверях появилась Зильберман с бригадой энтузиастов – у них горели глаза и чесались руки.

* * *

Прошёл месяц. Унылые дожди погасили вспыхнувшие берёзы. Вокруг дома, где жили Самоваровы, кабельчики вырыли окоп. Забрызганный пазик с красным крестом на борту затормозил у помойки, и санитары покатили больного домой в новенькой немецкой коляске. Подарок от Зильберман! Проезжая мимо мусорного бачка, Петюня узнал свой зелёный торшер 60-х годов и выдернул его из хлама.

Петюниной необъятной квартиры более не существовало. Его принесли в безжизненный куб сузившегося пространства с холодными, выкрашенными под сталь стенами и картиной, с изображением лопнувшей пружины и погнутой стрелки от часов. Фиолетта поначалу захлопала в ладоши, выкрикивая «хай-тек! хай-тек!», но увидев печальное лицо Петюни, прикусила язык. В дверях возникла восхищённая Зильберман, за её спиной стояло «шу-шу» разноязыких соседней. Стоя распили бутылочку шампанского, съели по куску торта и исчезли, приняв округлившиеся глаза Петюни за радость и благодарность за их труды.

Больной пялился в окно на лысые головы берёз. Фиолетта сидела у его холодных ног и теребила краешек простыни. За стеной галдели счастливые соседи. Продолжали отмечать победу над срочем.

Барболу родителям так и не отдали. У неё нашли какую-то патологию и перевели в лечебное учреждение закрытого типа. Петюня понял, что его дочь вернулась обратно в картину Веласкеса.

Петюня всё оглядывался и спрашивал Фиолетту: «Де ы? Де ы?» Она его гладила по голове и успокаивала: «Мы дома, дома».

Лишь на следующий день откуда-то вышел июньский жук – весь забрызганный побелкой, волоча перебитое крыло, он заковылял к хозяину. Они улыбнулись друг другу, как старые приятели. Петюня пощекотал пальцем Велимиру мохнатое брюшко и вдруг понял, что тот внезапно скончался. Окаменел морской

галькой. Петюня поднял унылые глаза и увидел на шторе финальную сцену немого кино под музыку тапёра: вот грузное тело с болтающимися кукольными ногами, потея, ползёт-ползёт к балкону, потом тяжело переваливается через перекладину, и ветки хлещут куль в штанах по заднице. Ворона кричит «дурак!» (титрами), сугроб жёлтых листьев замедленно вздымается в воздух. А потом – тихо опадает. Шур-шур. Последний лист залепляет экран.

Петюня погрузился в дрёму. Зажмурился, сделал глубокий вдох и нырнул в шевелящуюся лазурь. Но море выплюнуло его обратно, как надувного дельфина. Он беспомощно елозил по толстому стеклу, стуча по нему кулаком. Пусти! Внизу зашевелилась красная звезда и сложилась в фигу.

Фиолетта собралась в магазин и уже в дверях спросила:

– Может, тебе сладенького купить?

– Упить... – ответил во сне Петюня и осторожно предложил: – Те зауж адо!

– Чего? – присвистнула Фиолетта. – Какой замуж? Придурошный...

Петюня положил Велимира в свой любимый портсигар – устроив там ему погребальное ложе. В скважине два раза перевернулся ключ. Он снял с себя бабочку и надел её на бутылку минеральной воды. Каблуки зашаркали по ступенькам. Щёлкнул кнопкой торшера, и комнату залило жёлтым теплом. Взял огрызок карандаша и на новеньких обоях нацарапал:

Ты знаешь, как мне будет скучно
лежать на золоте луны...

Он кувыркнулся на пол и, шумно дыша, как морж на лежбище, пополз к морю. Судно чавкнуло и перевернулось. Брызги залепили губы. Он рассмеялся и крикнул матросу со шваброй, стоящему на берегу:

– ...ать швао!

Что означало: «отдать швартовы». Мангровые заросли затрещали, царская обшивку корабля. На борту заплясали буквы «Фиолетта». Бупс! Волна жёлтых листьев вспучилась, накрыв тело утопленника. Таджика сбило с ног. Метлой хрястнуло по лбу соседку Зильберман. Эффект домино!

...А у Фиолетты на кассе не хватило пятидесяти копеек, чтобы заплатить за малиновое варенье. Берёшь такой свежий нарезной батон, нарочно отламываешь неровно и густо мажешь вареньем. Сладкая кровь лета пропитывает мякиш. Он тяжелеет. Осы дежурят у алой пещерки рта. Барбола пукает от счастья. Петюня говорит: «как садко ыть!» «Выть?» – переспрашивает жующая Фиолетта. «Не ыть, а – ыть!» – поправляет он жену. «А-а, жить!» – догадывается она и улыбается малиновыми губами. Такая молодая-молодая. Юркая, но Петюня её всё равно догонит и будет лобызать – пачкая бородкой, забрызганной вареньем.

...Они подойдут к Диего Веласкесу и попросят переписать *Las Meninas* – тот правый угол, где стоят Барбола и Пертусато. Пусть художник великодушно изобразит там ещё и Петюню с Фиолеттой – в сером тюлевом тенёчке прямо за дочерью. И что же? Он так и сделал. *Gracias!*